# На берегах Леты

# Ирина Владимировна Одоевцева

## Главы из ненаписанной книги

Предлагаемые главы были записаны мной со слов Ирины Владимировны Одоевцевой у нее дома, в Париже, на улице Касабланка, в 1984—1985 годах. В интервью, которое я взял у писательницы для «Русской мысли» (№ 3538), она, отвечая на первый вопрос, сказала:

*«Да, я наконец решила написать третью книгу. Называться она будет „На берегах Леты“, так как, сами понимаете, дальше этих берегов уже ничего не бывает. Эта книга будет преследовать несколько целей. Первая из них — быть как бы справочником, подспорьем в работе для новых поколений литературоведов: ведь на нашу эпоху, несомненно, будет обращено большое внимание в будущем. Я не клянусь, что в моих книгах все передано безошибочно; память, по верному определению Зинаиды Шаховской, не фотографический аппарат. Но порой я прихожу в ужас, читая чьи-нибудь воспоминания и убеждаясь, что память многих — умышленно или нет — парализована.*

*Я хочу теперь писать о пустяках, жизненных мелочах, — тех частицах, из которых складывается человеческая и творческая судьба; писать обо всем, что было и чего не было. Постараюсь рассеять многие мифы, сложившиеся вокруг известных имен.*

*Вторая цель — покататься на „машине времени“, без цели и плана, вспоминая всех тех, кого знала в жизни — с самого детства. Об этом просят меня читатели и критики, которым я очень признательна за то, что они исполнили мою просьбу и действительно подарили временное бессмертие, полюбив тех, о ком я писала в предыдущих книгах. Расскажу о детстве, о своей семье (хотя я, должна признаться, не считаю детство самым прекрасным временем жизни), о первых творческих успехах и разочарованиях, о детстве Георгия Иванова, о его семье, о его взаимоотношениях с разными литераторами.*

*И наконец, третья цель — отблагодарить моих читателей, кто так живо откликнулся на мои книги и кому дорого прошлое русской культуры».*

Наши встречи происходили по четвергам. И. Одоевцева заранее обдумывала содержание следующей главы. Это продолжалось до самой ее болезни, а затем отъезда в Ленинград. Дома я редактировал текст, перепечатывал и приносил показать И. Одоевцевой. Она меняла одно-два слова. Работа шла легко и быстро. Свидетелем этих встреч иногда была ближайшая парижская подруга Ирины Владимировны Соня Ардашникова (Иваницкая). Таким образом, предлагаемые тексты — последнее из того, что было создано И. Одоевцевой за ее долгую, покрывшую собой целые эпохи, нарождение и гибель миров, только что оборвавшуюся жизнь.

Нумерация глав условна. Отдельный текст посвящен одному из крупнейших поэтов эмиграции Юрию Одарченко.

*Александр Радашкевич*

### I

Мне шесть лет. Меня будят, надевают на меня белое плиссированное платье и тащат в столовую. У родителей сегодня гости, и меня, как это часто бывает, заставляют читать стихи. Моим родителям казалось, что гостей это очень развлекает, но я уже и тогда понимала, что им это скучно. Меня ставят на буфет, и я сейчас же начинаю читать весь свой репертуар: басня «Maître Corbeau», «New Year’s Bell», «Три пальмы» по-русски и по-немецки — целую «серьезную» балладу «Der Taucher» Шиллера. Я все еще безграмотна: не умею ни читать, ни писать. В России детей начинали учить грамоте не раньше семи лет. Но у меня была удивительная память: я выучивала наизусть вещи, которые мне часто читали вслух.

Прочитав весь свой репертуар и выслушав аплодисменты, я уже собралась слезать с буфета. Но тут одна из дам обратилась ко мне: «Деточка, а ты не знаешь ли что-нибудь по-русски — „Жил-был у бабушки серенький козлик“ или что-нибудь такое?» Я выпрямилась и с гордостью ответила: «Знаю!» И сразу начала читать:

Хочу быть дерзкой, хочу быть смелой,

Хочу одежду с себя сорвать,

Хочу упиться душистым телом,

Хочу тобою обладать.

Слушатели в ужасе разинули рты: как? почему, кто тебя научил? Я покачала головой: «Не могу сказать: я дала слово». Вдруг моя француженка крикнула на меня: «Скажите, сейчас же скажите, а то завтра будете стоять в углу, пока не скажете». Но я стояла на своем: «Не могу: дала слово». Тут мой отец возмущенно обратился к гувернантке: «Это называется воспитание? Вы что, хотите из нее предательницу сделать? Она права, что не говорит, раз дала слово».

Он снял меня с буфета и, посадив к себе на колени, стал угощать пирожными и спрашивать у меня, что бы я хотела получить завтра в подарок. «Собачку, маленькую пушистую собачку!» И он сказал: «Завтра же ты ее получишь».

И действительно, на следующий день отец принес мне маленькую золотистую болонку с удивительно большими красивыми глазами. У нас в доме уже был большой сенбернар Джек. А собаки мне казались самыми важными существами в мире.

Поскольку мой Пушок явился как бы наградой за поэзию, меня с той поры еще больше к ней потянуло.

Мой отец мечтал, что я стану адвокатом. В России в то время еще женщин-адвокатов не было, но он все-таки хотел, чтобы я закончила юридический факультет, так как к тому времени, думал он, многое изменится. А подтолкнуло его на эту мысль следующее происшествие, которое он наблюдал из окна своей спальни.

Я со своим родным и двоюродным братьями, которые были старше меня на два и четыре года, играла в саду, на даче. Моему брату Пьеру привезли к тому времени из Парижа велосипед, которым он очень гордился. В сад вошел продавец ковров и, увидев велосипед, шутя заявил нам: «Хорошая игрушка! Возьму-ка для своего сынка». И он сделал вид, что забирает велосипед и укладывает в мешок с коврами. Пьер и Володя страшно растерялись. Пьер уже готов был заплакать. Тогда я подошла к торговцу, положила руку на руль и сказала:

— Не имеете права брать: чужое!

Мечта отца о моем адвокатстве так и не сбылась. Правда, окончив гимназию, я поступила на женские курсы юридического факультета, но дальше первого курса не пошла. Впрочем, к адвокатам я всегда относилась с глубоким уважением. А если б я и стала адвокатом, то не гражданским, как отец, а непременно по уголовным делам.

Мой отец был присяжным поверенным в Риге, где и прошло мое детство, но, как ни странно, я была абсолютно безразлична к Риге. Так что пословица «Всякий кулик свое болото хвалит» на мне не оправдалась. Я любила столицу — Петербург. И только там чувствовала себя по-настоящему дома. Мой отец часто ездил в Петербург выступать в Сенате и иногда брал меня с собой. И там прошли самые блаженные из моих детских дней.

Я жила у своей тетки Лизы, которая меня очень любила и страшно баловала. У меня были еще двоюродный брат Стива, правовед, и двоюродная сестра Ира. Они оба были старше меня и тоже очень меня баловали. Как я уже сказала, был у меня и родной брат, а сестер, к моему величайшему сожалению, не было. Но я воображала, что, если бы была сестра, мы бы очень дружили. Подруг своих я не слишком любила и часто презирала за их пристрастие к куклам. Моя мама, боясь, что из меня получится не особенно хорошая хозяйка дома, дарила мне множество кукол, все надеясь, что я ими заинтересуюсь. Они заняли, вместе с кукольным домом и спальней, половину моей комнаты. У каждой из них был свой гардероб, их надо было одевать, причесывать, укладывать спать. Я же просто совала их в кровать, закрывала одеялом и объявляла: «Спят уже» — и больше заниматься ими не желала. Девочки, приходившие ко мне в гости, мне страшно завидовали из-за этой массы кукол и «со страстью» играли с ними часами. Я смотрела на них с презрением и в игре никогда не участвовала.

Я любила только собак и лошадей. Выходя гулять с гувернанткой, говорила про себя: «Один большой поклон всем собакам и всем лошадям этой улицы». Я чувствовала себя королевой собачьего царства, в котором не было ни одного человека, а все собаки говорят стихами. Я никому о своем царстве не говорила, но однажды все-таки проболталась своей английской гувернантке, которая мне пообещала, что той же ночью я поеду в это царство. Я прождала целый день. Вечером, укладывая меня в постель, она сказала: «Вот заснете и поедете». Я очень обиделась и с той поры еще меньше стала доверять взрослым, и никому уже не говорила о своем царстве, хотя и продолжала, нарядившись в мамино маскарадное черное платье со звездами-блестками, считать себя королевой.

### II

Читатели часто просят меня рассказать и о семье Георгия Иванова, о его братьях и сестрах.

У Г. Иванова была одна сестра Наташа и два брата — Владимир и Николай, все гораздо старше его. Сестра его была вылитая Элиза Фурман, жена Рубенса. Но в детстве она не нравилась своей матери, и маленький Юрочка (так звали Г. Иванова в семье) по вечерам молился, чтобы она поскорее и поудачнее вышла замуж. По-видимому, Бог услышал его молитвы, так как она была замужем, и даже три раза. Правда, первый ее муж, поляк, умер странной смертью, а второй, Субботин, покончил с собой во время революции из «чувства самосохранения». Дело в том, что он боялся заболеть такой болезнью, от которой нет лекарств. Поэтому он накупал всевозможные медикаменты и в конце концов отравился однажды на улице, приняв яд.

Третий ее муж, Гаврилов, был начальником Монетного двора. Наташа работала в то время в столовой и поэтому могла подкармливать всю семью. Но столовая по какой-то причине закрылась, и, так как у нее было высшее образование, она решила устроиться в Монетный двор. Но там ее встретили весьма холодно:

— Не подхóдите. Нам не нужны разные в каракулевых шубках, и расфуфыренных не надо. Мы свою возьмем — пролетарку.

Наташа возмутилась.

— Безобразие, — начала она. — Я пришла, чтобы служить народу, а тут рассуждают про мое пальто! Проводите меня к вашему начальнику.

Начальник был очень вежлив и тоже возмутился тем, как ее приняли. А через месяц Наташа вышла за него замуж. Этот брак был очень счастливым, хотя была в нем и «теневая» сторона — полнота Наташи. А была она очень пышнотелой. Во время медового месяца в Петергофе она прибавила еще пятнадцать килограммов. Наташа мечтала навестить нас с Жоржем в Париже. Из этого ничего не вышло, а о дальнейшей ее судьбе я ничего не знаю.

Старший брат Г. Иванова, Николай, был по характеру очень жестоким. Будучи белым офицером, он однажды «увешал» всю аллею трупами красных.

А Владимир был инженером. Он закончил свое образование в Англии и был совершенно англизированным во всех отношениях. У него было маленькое именьице, которое, еще до разорения, успел подарить ему отец. В этом именьице он большую часть времени посвящал своему автомобилю: чинил его и усовершенствовал. При красных он прикидывался сыном крестьянина Иванóва, эдаким русским самородком, и старательно избегал высоких должностей.

Вообще же семья Георгия Иванова была очень странной. Его тетка действительно была дочерью разбойника, выдававшего себя за князя. Об этом Г. Иванов писал в очерке «Из семейной хроники», опубликованном в «Возрождении».

*Русская мысль (Париж). 1990. № 3852.*

### III

Мне четырнадцать лет. У моего брата, который довольно плохо учился, был репетитор. С этим репетитором я почти не была знакома, но у одних знакомых на рождественской елке, во время детского праздника, мы с ним встретились. Все ужасно веселились, танцевали, играли во всевозможные игры, а когда надо было идти домой, то нашу прислугу, которую прислали за мной, отправили назад, а меня все гости пошли гурьбой провожать домой. Пошел и этот репетитор. По дороге тоже очень веселились, я даже прыгала полпути от удовольствия, не обращая внимания на репетитора, который все время вился около меня. Прощаясь же перед подъездом, он поцеловал мне руку, что меня слегка смутило.

В следующий раз, когда он пришел давать урок брату, я к нему не вышла, хотя он и просил брата позвать меня. Он совершенно меня не интересовал. Иногда, сталкиваясь с ним в прихожей, я, наскоро поздоровавшись, убегала в другую комнату.

Прошло некоторое время, и я вдруг получила от него письмо, содержащее длинное объяснение в любви. Это было мое первое любовное письмо, чрезвычайно поразившее и одновременно обрадовавшее меня. Как интересно: раз мне пишут такие письма, значит я уже взрослая. Отвечать ему я и не подумала и по-прежнему старалась его избегать. Но подобные письма стали приходить почти ежедневно. В тайну своей любви он посвятил Пьера, который потом страшно хохотал и все рассказал моим двоюродным братьям, жившим у нас.

Как-то раз я опять столкнулась с репетитором в прихожей. На этот раз он встал на колени и начал объяснение в любви. Я попросту убежала. Тогда он написал моему отцу. Помню начало: «О маловерный, я буду холить дни вашей старости. Клянусь, что сделаю вашу дочь счастливой. Она станет родоначальницей славного рода Ц., матерью восьми детей: пяти мальчиков и трех девочек...»

Затем я заболела свинкой, лежала с распухшей шеей и чувствовала себя отвратительно. А к маме в это время пришла одна знакомая, предупредив по телефону, что ей необходимо видеть меня и маму по важному делу. Прямо с порога она объяснила маме, что пришла по просьбе Ц.:

— Почему вы так противитесь браку вашей дочери? Ведь речь идет о будущем, а пока он просит лишь согласия на брак. Он очень порядочный молодой человек и действительно страшно влюблен в вашу дочь.

Мама засмеялась:

— Мы вовсе не думали противиться, но моя дочь ни о каком замужестве не помышляет. И вся эта любовь просто выдумка.

— Но как же, — настаивала дама, — он сам мне говорил, что ваша дочь согласна, а вы не позволяете ей.

Мама удивилась:

— Какой вздор. Если хотите, она сама вам скажет о своих чувствах.

Дама обрадовалась:

— Пожалуйста, позовите ее. Я бы хотела сама с ней поговорить.

Предупредив, что я больна свинкой, мама послала за мной, и я, поднявшись с постели, вышла к ним в халате.

— Скажите, — обратилась ко мне дама, — любите ли вы Ц.?

И я выпалила хрипло:

— Терпеть не могу! Пусть не пристает ко мне больше.

Мама развела руками:

— Вот, слышали? Мы с мужем тут ни при чем.

— Что же он мне такое говорил? Он сейчас ведь ждет ответа у меня дома... Бедный! бедный!

Но этим дело не кончилось. Он по-прежнему стал поджидать меня по вечерам у дверей дома. Служанка, провожавшая меня, говорила маме:

— Этот, который любит барышню, может ведь ее украсть. Я боюсь. Хорошо, если бы ее встречал брат или еще кто-то.

Тут мы узнали от одного приятеля Ц., что у него дома, в углу, устроен род алтаря и на нем чучело в красном платье (а на мне в тот рождественский вечер было красное плиссированное платье) и что он утром и вечером поклоняется этому истукану. Отец тогда сказал, что неизвестно, сошел он с ума от любви или же влюбился, потому что был сумасшедшим.

Письма мне и моим родителям все продолжали приходить. Но, перестав давать уроки брату, он неожиданно уехал из Риги. Из его писем выяснилось, что он хотел изучать в Швейцарии иностранные языки, чтобы быть достойным меня во всех отношениях.

— Ну и слава богу! — вздохнул отец.

На этом, кажется, все и кончилось. А вскоре началась война, мы переехали в Петербург, и больше я об этом Ц. никогда не слышала.

### IV

Меня часто спрашивают, кто напечатал мои стихи впервые и кому я этим обязана: Гумилеву или Георгию Иванову. Но на самом деле ни тому ни другому, а как это ни странно, самой себе.

Мы уже жили в Петербурге. Была революция. Гуляя по городу с моим двоюродным братом Сергеем (который был тогда уже моим мужем, но об этом позднее), я увидела на углу Морской улицы барышню в котиковой шубке и замшевых сапожках, с большой кипой газет, которые она и продавала. Это так меня взволновало, что, вернувшись домой, я сразу написала (а вообще, я писала стихи с детства) стих, начинавшийся так:

Вы стоите в котиковой шубке,

В замшевых сапожках на углу Морской.

Кажетесь такой вы тоненькой и хрупкой,

Маленькая девочка с игрушечной душой.

Закончив стихотворение, я тут же решила послать его в тогдашнюю газету «Эхо». Володя смеялся:

— Так и напечатают: держи карман шире!

Но через три или четыре дня вдруг приносят мне газету с этим стихотворением, красовавшимся на видном месте. В тот же день я получила письмо из «Эха» с просьбой прислать новые стихи и приглашением прийти познакомиться.

Я просто обезумела от счастья. Первый раз я получила подтверждение того, что я настоящий поэт. Я прыгала с дивана на кресло, с кресла на стул и бесновалась, несмотря на крики мамы о том, что я сломаю себе спину. Мне хотелось от восторга выброситься из окна и рассыпаться искрами по тротуару. Такого восторга я больше никогда не переживала.

К тому времени, как я уже сказала, я была замужем. Вышла я замуж по желанию моего отца, боявшегося меня оставлять на «съедение волкам» (так он называл моих юных поклонников). Мы тогда уже жили на Бассейной, 60, и мой отец собирался уезжать в Ригу. Я училась в институте «Живого слова» и уезжать ни за что не хотела. В женихи он мне выбрал моего двоюродного брата Сергея Попова, бывшего тогда уже богатым государственным нотариусом. А был это 1918 год.

Поповой я никак не соглашалась стать и сказала, что выйду замуж при условии, что у меня будет девичья фамилия моей матери — Одоевцева. Сергей с восторгом на все согласился, так как с детства был ко мне неравнодушен. И мы действительно повенчались в церкви у Пяти Углов. Брак этот был чисто фиктивный, и мне был обещан развод, когда мне заблагорассудится. Жилось мне очень хорошо. В то нелегкое время Сергей зарабатывал очень большие деньги и невероятно разбогател.

Об этом «браке» я бы никогда не упомянула, если бы Н. Берберова в своих воспоминаниях, в примечании, не написала, что я Одоевцева по фамилии моего первого мужа, присяжного поверенного Одоевцева, и тем самым не создала никогда не существовавшего на свете человека.

Георгий Иванов взял с меня слово никогда об этом «браке» не упоминать, желая всегда считаться моим первым мужем. Но я нисколько не сержусь на Н. Берберову и даже благодарна ей за сотворение Сергея Александровича Одоевцева: ведь это обстоятельство все равно когда-то открылось бы и вышло, что я что-то скрываю.

### V

Я от природы существо очень благодарное. Правда, добра в жизни у меня было мало. Конечно, не считая добром то, что делают друг для друга влюбленные. Я прекрасно знаю, что сегодня они готовы разориться и даже пожертвовать своей жизнью, но, влюбившись в другую или другого, завтра могут выбросить вас в окно. Поэтому все, что делают влюбленные, не имеет никакого отношения к добру. Но вот случай, за который я за все эти годы так и не собралась поблагодарить.

Это было весной 21-го года. Я тороплюсь. Я кончаю свою поэму «Саламандра», которую должна читать сегодня вечером в Цехе. Не хватает еще последней строфы. Мне очень хочется есть. Конечно, я могу зайти в Дом литераторов на той же Бассейной и съесть там полагающуюся мне пшенную кашу. Но я все откладываю: мне хочется закончить поэму. Время идет. А я все никак не могу справиться. Но вот я закончила наконец и одеваюсь, чтобы идти в Цех. По дороге туда я решила все-таки забежать в Дом литераторов и съесть полагающуюся мне кашу. Смотрю на часы. Уже без четверти восемь. И я, махнув мысленно рукой, отказываюсь от своей каши и бегу в Цех. Ничего, теперь ведь начался нэп, и во время заседания Цеха нам дают стакан чая и большое пирожное эклер. Я его уже себе представляю, какое оно вкусное, и стараюсь не жалеть о несъеденной каше. В Цех я, как и думала, опаздываю. В прихожей снимаю шубку и сталкиваюсь с Малкиной, сестрой поэта Рождественского, молодой студенткой медицинского факультета. Я с ней слегка знакома, как и со всеми обитателями Дома искусства, но не более того. Поэзией она не интересуется, и на вечерах она не бывает, и я с ней ни разу не разговаривала. Она взглянула на меня и вскрикнула:

— Одоевцева, вы же голодны! Вы зверски голодны!

— Нет, я совсем не голодна и, перед тем как идти сюда, дома хорошенько закусила.

Признаться в том, что я голодна, мне кажется совершенно невозможно, оскорбительно.

— Врете, — сказала она, — так я вам и поверила. Вы зверски голодны, я по глазам вижу.

Я отвожу взгляд:

— Ничего подобного. Выдумаете тоже.

И бегу в Цех.

Заседание Цеха уже началось. Гумилев уже предлагает читать стихи, которые будут сейчас разбирать. Я усаживаюсь на свое место. Дверь вдруг отворяется.

— Одоевцева, на минуту.

Гумилев недовольно морщится. Он не любит, чтобы чем-нибудь нарушали заседание.

— Что ж, идите, — все же говорит он.

Я выхожу из Цеха в полном недоумении. Малкина крепко берет меня за руку и ведет.

— Куда? — спрашиваю я.

Но она, не отвечая, ведет меня на кухню. В кухне она закрывает дверь на ключ и кладет его в карман.

— Рыпайтесь не рыпайтесь, не уйдете, пока не съедите этого.

Она поднимает крышку и вынимает из кастрюли большой кусок вареного мяса и, положив его на тарелку, режет пополам.

— Пока все не съедите, не уйдете.

Я растерянно моргаю.

Упоительный запах вареного мяса ударяет мне в нос, и я чувствую, что, даже если дверь была бы не заперта, у меня бы не хватило сил отказаться. Я сажусь за стол и начинаю есть с наслаждением. Она с удовольствием смотрит на меня и улыбается и тоже начинает есть.

— Ну вот, — говорит она, когда я съела все до последней крошки, — теперь можете идти.

— Спасибо. Я никогда этого не забуду, — растерянно говорю я.

Она отпирает дверь.

— Благодарностей не надо. Всего хорошего.

Я снова иду в Цех.

Мне кажется, что чувство сытости меняет все кругом, и походка у меня гораздо тверже. И я, подняв голову, гордо вхожу в Цех.

За это время уже разобрали несколько стихотворений. Но я не слишком опоздала. Сейчас должен читать Лозинский, а потом я, и в конце — Гумилев. Все остальные уже читали, и их уже разбирали. Лозинский читает стихи, которые мне страшно понравились, и я запомнила их на всю жизнь.

Последним читает Гумилев свою «Деву-птицу», написанную по рифмовнику, чем он очень гордится.

Ну вот, стихи кончились, и сейчас дадут чай с эклерами. Неллихен сегодня отсутствует, и один эклер оказался лишним. Гумилев предлагает отдать его автору лучших стихов, прочитанных сегодня. Начинается голосование. Все голосуют за стихи Гумилева, исключая Лозинского, подавшего голос за мою «Саламандру», и меня, подавшую голос за стихи Лозинского. Гумилев недовольно морщится и, чувствуя свою правоту, берет эклер и кладет его себе на тарелку. И прекрасно. Я могла бы отдать ему и свой эклер. Я так сыта, что отношусь к этому почти безразлично.

Эта «Дева-птица» мне и тогда уже казалась неуклюжей и никак не заслуживающей награды. Описание птицы и пастуха, который насилует эту Деву-птицу, было мне неприятно:

Что делает, сам не знает.

Грубые его колени

Нежные перья ломают.

Я еще теперь удивляюсь этой муштровке. Все понимали, что «Дева-птица» — это неудача, но сказать об этом Гумилеву никто не смел, потому что влияние его личности так всех давило, что никто и пикнуть не смел. И если бы Гумилев не умер так рано, то, возможно, поэзия пошла бы по другому руслу, ибо он уже сам отходил от акмеизма («Цыгане» и т. д.).

*Русская мысль (Париж). 1990. № 3853.*

### VI

Еще один миф, который я хочу развенчать, — о «бессмертной» влюбленности в меня Н. Гумилева.

Гумилев был, как всем известно, великим донжуаном. Он сам писал: «Когда я был влюблен, а я всегда влюблен...» Он также любил повторять строчки Кузмина: «И снова я влюблен — впервые, / Навеки снова я влюблен». На самом деле он очень увлекался мной, как и многими другими, но ни о какой долговечности этого чувства не было и речи. В любом случае он никогда бы не оставил меня, так как я была его громогласно объявленной гордостью, любимой ученицей. К. Чуковский говорил тогда:

— Николай Степанович, ну хватит, и зачем так утомляться? Вы просто повесьте ей на спину табличку «Ученица», и не надо будет больше повторяться.

Лекции и семинары Гумилев вел с большим трудом, почти всегда неудачно. Он был необычайно резок. Поэтому даже самые талантливые его ученики, как Н. Чуковский, Познер и Лунц, ушли от него, не пожелав обучаться схоластике. Трудно придумать более странные лекции, чем те, которые читал Гумилев. Так, например, он однажды предложил своим слушателям определить, каким из драгоценных камней был каждый из известных русских поэтов, каким диким зверем или какой рыбой. По Гумилеву, Пушкин был, например, царем зверей — львом, Лермонтов — тигром и т. д.

Несмотря на все эти странности, мне так хотелось научиться писать хорошие стихи, что я была готова и не на такое. Вскоре он стал уделять занятиям со мной особое внимание, принялся упорно развивать мой литературный вкус. Он давал мне книги самых различных авторов, а потом просил рассказать их содержание и высказать мое «ученое» мнение о них. Современной французской поэзии я совсем тогда не знала, ничего не слышала ни о Валери, ни об Аполлинере. Из русских я восхищалась тогда Щепкиной-Куперник, а из французов — Малларме. Гумилев ругал меня за такой выбор и доказывал всячески его ошибочность. Он заставил меня перечитать их снова, и хотя внешне я с ним согласилась, но на самом деле осталась при своем мнении.

Со временем Гумилев начал менять как лектор свои привычки, стал добрее к своим ученикам, терпеливее, сбросил свое высокомерие. Он любил повторять, между прочим, что писать стихи — такая же наука, как математика. В него влюблялись многие из тех, кто приходил на лекции. Я помню, как младшая из сестер Наппельбаум читала:

Душа моя делится нá три:

О тебе, обо мне и о театре.

Гумилев очень ценил ее стихи, как и стихи старшей сестры — Иды. Он был с ними в очень добрых, товарищеских отношениях. Сумел он завоевать симпатии даже красноармейцев. В знак своего расположения к поэту они перевезли его библиотеку из Царского Села в Петроград.

### VII

Двадцать седьмой год. Андрей Белый в «Современных записках» напечатал совершенный панегирик Владиславу Ходасевичу, превознося его до небес. Георгий Иванов ответил статьей, в которой сказано, что Ходасевич — не большой, но очень чистый, прекрасный поэт и что преувеличения подобного рода ему только во вред. Ходасевич страшно обиделся, и с тех пор началась их вражда с Георгием Ивановым.

А произошло это сразу после Нового года. На последовавшем балу Г. Иванову говорили:

— Что вы наделали? Он же вас съест теперь.

На что тот отвечал, пожимая плечами:

— Пусть попробует. Это не так-то просто.

Ходасевич начал распространять слухи о том, что большевики купили Г. Иванова и он пишет благодаря им. Но этого ему показалось мало, и он объявил Георгия Иванова... убийцей.

Действительно, на Почтамтской, где мы тогда жили у Адамовича в квартире, принадлежащей его тетке мадам Боле, произошло настоящее убийство. Но произошло оно в декабре, а Г. Иванов, опередив меня на несколько месяцев, покинул Ленинград уже в конце июля или начале августа, чтобы встретиться со своей первой женой в Париже.

Вообще же это была темная история. В квартире Адамовича был убит какой-то родственник его приятеля, богатый поляк. Большевики сами замяли эту историю, и она так и осталась нераскрытой.

### VIII

Меня часто спрашивают, была ли Анна Ахматова членом второго Цеха поэтов. Нет, никогда не была. Из первого Цеха во втором, кроме синдика Гумилева, были только Лозинский и Г. Иванов.

Ахматовой под конец жизни, к сожалению, начала изменять память. Ахматова, составляя список первого Цеха, ошибочно внесла в него и Г. Адамовича, который в действительности состоял только во втором Цехе. Правда, позднее Адамович, узнав об этой ошибке Ахматовой и понадеясь на мое молчание, стал причислять себя и к членам первого, более пышного Цеха поэтов. При его жизни я молчала, а теперь решила сказать, как это было на самом деле.

Я знаю о первом, главном Цехе поэтов очень многое, и меня могут спрашивать о разных подробностях.

К Ахматовой я отношусь с глубоким уважением и очень люблю ее стихи. Но хочу отметить еще одно проявление ее забывчивости. В той длинной пародийной песне, в которой упоминается каждый член Цеха, были, конечно, строки и о ней:

И взглядом грустным и томящим

Ахматова глядит на всех.

Был выхухолем настоящим

У ней на муфте драный мех.

Позднее Ахматова так изменила последние строки:

Был выхухолем настоящим

У ней благоуханный мех.

Я хочу также развеять миф о том, что между Ахматовой и Блоком был какой-то роман. Это неправда. Блок даже не очень любил ее стихи. «Анна Андреевна, — говорил он, — читает как будто для мужчины, в то время как читать надо для Бога». Миф этот возник из ахматовского стихотворения «Я пришла к поэту в гости...»

И еще я хочу немного поправить Н. Оцупа, который написал, что Гумилев поручил ему составить второй Цех поэтов. Это было бы совершенно невероятно, потому что Гумилев страшно держался за власть и никого не подпустил бы на пушечный выстрел к своим правам, как он их понимал. А в последние годы Оцуп даже не был больше другом Гумилева, потому что он способствовал однажды тому, что председателем Союза писателей выбрали Блока, а не Гумилева. Позднее Г. Иванов с помощью одного голоса (он просто подцепил кого-то на улице) восстановил председательство Гумилева.

*Русская мысль (Париж). 1990. № 3854.*

###### ОБ ОДАРЧЕНКО

Только недавно я обнаружила на своей полке белую книгу, прекрасно изданную, неизвестно кем мне принесенную, — Юрий Одарченко «Стихи и проза». Открыла ее и зачиталась. Стихи Одарченко я хорошо знаю, а вот прозы его никогда не читала и была сразу же ею очарована. Но все по порядку.

Книга начинается с очень умной, содержательной статьи К. Д. Померанцева, большого друга Одарченко. Был Одарченко и нашим с Георгием Ивановым другом. И я вдруг совершенно ясно увидела его перед своими глазами. Он был человеком во всех отношениях необычайным, совершенно особенным и во многом непонятным, как, впрочем, и его творчество.

Я познакомилась с ним у Владимира Смоленского. В тот же день встретил его впервые и Померанцев. Одарченко сейчас же пригласил нас участвовать в литературном альманахе «Орион» и принялся расхваливать мое стихотворение «Сияет дорога райская...», где есть строки:

Идет Иван Иванович

В люстриновом пиджаке,

С ним рядом Марья Филипповна

С французской книжкой в руке.

Они привели его в восторг. Через них, как он сам признался, у него появилась «Клавдия Петровна» в стихотворении с великолепным финалом:

Подошла к дверям. В дверях

Обернулась. Смертный страх

В помутневших зеркалах.

На паркет упала... Ах! Клавдия Петровна.

В тот вечер он читал «На волне гребешок — значит женщина утонула...», и мы все высоко оценили эти стихи. С этого памятного чтения и началась наша дружба. Закончив очередное стихотворение, Одарченко сейчас же звонил мне и долго, во всех деталях, не менее часа, разбирал его. Вообще писал он довольно легко, но порой заходил в тупик, не будучи в состоянии найти две-три строчки.

Помню, как он бился над своим прелестным «слоником» (стихотворение «Чистый сердцем»). Он никак не мог справиться со строфой, начинающейся: «Как такому тяжелому Бог / Позволяет ходить по канату?» Оказалось, что он промучился с этим целую неделю. Я предложила тогда вариант последней строчки, который он с радостью принял, и получилось: «Тумбы три вместо маленьких ног, / А четвертая кажется пятой».

— Вот еще одно место, которое у меня никак не выходит: «Если так, то подрежем канат» и так далее. Ну как тут кончить?

Подумав, я посоветовала: «Ах, мой слоник!.. — туда и дорога». Опять он страшно обрадовался, и таким образом завершилась предпоследняя строфа. Одарченко был мне чрезвычайно благодарен за эту помощь и даже склонен был преувеличивать ее значение. А помогла я ему еще два или три раза по пустякам. Это были мелкие правки, и я давно забыла о них.

Тогда же он намеревался посвятить мне стихотворение «Лишь для вас мои чайные розы...», кончавшееся словами:

А глаза на прелестном лице —

Две зеленые мухи цеце.

Это привело меня прямо в ужас. Мне стало как-то невероятно гадко от подобного уподобления, и я начала упрашивать Одарченко снять посвящение с этого в целом хорошего стихотворения. В конце концов он нехотя согласился, но понадобились долгие уговоры.

— А я нахожу, что мне удивительно удался ваш портрет, — настаивал Одарченко, — и ваш отказ от посвящения меня задевает за живое.

Был он необычайно щедрым человеком и в то же время легкомысленным. Двери его дома никогда не запирались. Каждый из знавших его, кому почему-либо были нужны деньги, направлялся хозяином в другую комнату, прямо к шкатулке, из которой предлагалось взять сколько нужно. И никогда не просил он этих денег обратно. Если же возвращали, то Одарченко считал, что должнику это по карману.

По профессии он был инженером. Однажды я возвратила ему деньги, которые взяла в долг накануне. Это его чрезвычайно удивило, и, оправившись от потрясения, он сказал мне, что эти деньги останутся у него для меня «на сохранении». Правда, больше разговора о них не было. Несмотря на всю отзывчивость и щедрость, у него была в характере странная черта: порой он казался совершенно холодным и черствым.

Однажды Георгий Иванов сильно простудился и попросил меня отправиться к Одарченко за деньгами, которые он был нам должен. Жили мы в ту пору очень бедно. Я заартачилась: нет, нет, избавь меня от этого «удовольствия». Но Жорж принялся меня уверять, что просить ничего не придется и что Одарченко сам сейчас же отдаст деньги, как только меня увидит. И вот скрепя сердце я отправилась. У меня были деньги только на один билет метро. Обратно я рассчитывала купить билет на деньги Одарченко или взять такси.

Он встретил меня сердечно, напоил чаем, принялся расспрашивать о новостях и был искренне огорчен болезнью Георгия Иванова. А я все ждала момента, когда он наконец заговорит о деньгах. Но он о них и не заикался, продолжая говорить о том о сем, и взахлеб восторгался своими стихами. Про Георгия Иванова он сказал, между прочим, что он не имеет права печатать стихотворение, которое заканчивалось строчками: «И Лермонтов один выходит на дорогу, / Серебряными шпорами звеня», по той причине, что Одарченко якобы уже употребил этот образ в своем стихотворении «Я недоволен медведями»: «Они не сеют и не жнут, / но мед и земляничку жрут...» и так далее.

Оно заканчивается так:

Медведь огромный вместо Бога

Над миром лапу протянул,

Он лермонтовским сном уснул,

Пока не прозвучит тревога,

Не призывай же имя Бога!

Я доказывала, что Георгий Иванов не имеет отношения к его жутковатым «медведям», но всю мою аргументацию он оставил без внимания. Время шло. Напившись вдоволь чаю и так-таки не дождавшись денег, я начала собираться домой. Одарченко долго прощался со мной, желал Жоржу скорейшего выздоровления. И вдруг он спросил: «А вы ничего не забыли?» Я ответила, что нет, что со мной, мол, ничего не было. Потом я поняла, что он намекал на деньги, но было уже поздно.

И вот, не имея обратного билета, я зашагала домой из очень отдаленного района и прошагала полтора часа... Домой я вернулась вконец разбитая и на расспросы Георгия Иванова с трудом выговорила, что ничего нет. В тот вечер мы так и легли голодными.

На другой день я шла к Смоленскому и неожиданно столкнулась с Одарченко, который с женой и сыном спешил в кинематограф. Увидев меня, он стремглав бросился через дорогу, чуть не угодив под машину, и, даже не здороваясь, выпалил:

— Ах, простите меня, пожалуйста, я ведь совсем забыл, что обещал вернуть деньги Георгию Иванову.

Поверить этому было, конечно, трудно. Да он и сам это понимал. Я сдержанно поблагодарила Одарченко и ушла, оставив его в растерянности. Это маленькое событие как-то по-новому осветило для меня его образ.

Был и еще один случай, тоже плохо вязавшийся с его обликом.

Дело происходило зимой. Мы, как я уже сказала, бедствовали. Я продала пять своих шуб, и мы успели их благополучно проесть. Оставалась последняя шуба из каракульчи. Продать ее, к сожалению, было невозможно, так как это был очень нежный мех и от ежедневной носки он протерся в нескольких местах, особенно на груди. Но я сохранила еще большую чернобурую муфту, которой и прикрывала главную погрешность моей шубы, стараясь с этими «остатками роскоши» как-то сохранять элегантный вид.

И вот однажды Жоржу срочно нужны были деньги, а у Одарченко как раз тоже гулял ветер в кармане. Одарченко предложил мне помочь продать если не «брайтшванцевую» шубу, то обязательно эту злополучную муфту... Но расстаться с единственным, что позволяло мне имитировать прежний вид, я никак не могла согласиться. На это Одарченко сказал:

— Значит, вам не так уж и плохо.

Приведу еще последний, совершенно невероятный пример его оригинальности.

Положение наше с Георгием Ивановым все ухудшалось. Порой мы были близки к отчаянью. Однажды я пришла к Одарченко, и он сказал, что написал обо мне стихи. Вспомнив его «зеленых мух цеце», я не слишком обрадовалась. Но тут меня ожидал сюрприз еще похлеще того. Выдержав многозначительную паузу, Одарченко начал читать с особенным трепетом в голосе: «Было счастье подвенечное, было платье бесконечное, шлейф, как Млечный Путь...» Я, конечно, узнала свои собственные строчки. А потом последовал «подарок» Одарченко:

Вот так-так, а теперь чердак.

Богу помолись и в петле удавись.

Я просто ахнула.

— Надеюсь, эти стихи принесут вам пользу, — сказал он.

Через некоторое время он все же рассказал, чем был вызван этот «полезный совет». Оказывается, он прочитал у Толстого, что человека, которому очень плохо, надо толкнуть, чтобы он упал. А когда он встанет, то начнет новую, совсем другую жизнь. А о том, что его рекомендации тогда нетрудно было последовать, Одарченко, очевидно, не подумал.

К этому эпизоду остается добавить, что в применении к себе Одарченко шел дальше одних пожеланий. Его нашли мертвым, с резиновой трубкой от газовой плиты во рту. Я жила тогда в Ганьи и слишком поздно об этом узнала.

Как я уже сказала, о прозе Одарченко я не имела никакого представления. Теперь она просто очаровала меня, несмотря на то что темы некоторых его рассказов мне до крайности неприятны. Я с трудом переношу разглагольствования об упырях и вурдалаках, оживших мертвецах с отслаивающейся плотью, длиннозубых вампирах и о прочих «прелестях». Недавно, кстати, мне привелось прочитать талантливое произведение Ю. Мамлеева на подобную тему. После этого, правда, я едва не захворала, но через несколько дней мне все же удалось справиться со своей депрессией.

Что-то похожее я пережила после рассказов Одарченко «Рыжики», «Оборотень» и других. Но его «Папоротник» и особенно «Псел» поразили меня своим стилистическим совершенством. Его пейзажные вставки удивительно хороши, словесные изыски неожиданно уместны, ритм его фраз завораживает. Странно, что к его прозе всегда относились полупрезрительно, нехотя упоминали о каких-то отрывках. Даже Померанцев не удостаивает вниманием его рассказы, считая Одарченко, по-видимому, лишь поэтом и занимательным устным рассказчиком. Такого же мнения придерживался Ю. Терапиано и другие его критики. Один только В. Бетаки совершенно справедливо сравнивает прозу Одарченко с манерой самого Гоголя. Для меня теперь очевидно, что прозаические вещи Юрия Одарченко совершенно равноценны его стихам, а иногда и значительнее их, потому что как поэту ему удавались лишь «сумасшедшие» видения, отличающиеся умелым (и, надо сказать, естественным для него) нажимом на псевдореалии.

Мне грустно вспоминать, что под конец своей жизни Одарченко перестал писать. При встречах со мной он твердил одни и те же бессмысленные строчки: «Тридцать три баобаба и маленькая баба», но двинуться дальше этой «бабы» он был уже не в состоянии. Между прочим, был он о себе, как о поэте, самого высокого мнения и вовсе этого не скрывал.

Одарченко был очень привязан к своему сыну Коленьке (в рассказе «Псел» мальчик выведен под своим именем), который отвечал ему тем же и на вопрос, любит ли он папу, отвечал, прижав к груди ладони: «Ах, как же можно его не любить?» В последние свои месяцы Одарченко был совершенно одинок. К тому же, как отметил уже К. Д. Померанцев, он был подвержен приступам скифской жажды. Вот этого своего последнего одиночества Юрий Одарченко пережить не смог.

*Русская мысль (Париж). 1990. № 3855.*